



Н. С. ЛЕСКОВ
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



Николай Семёнович Лесков

Тупейный художник

Содержание

1.....	0005
2.....	0007
3.....	0009
4.....	0011
5.....	0015
6.....	0018
7.....	0020
8.....	0024
9.....	0026
10.....	0028
11.....	0030
12.....	0034
13.....	0036
14.....	0039
15.....	0041
16.....	0046
17.....	0047
18.....	0049
19.....	0051

Николай Семёнович Лесков
ТУПЕЙНЫЙ ХУДОЖНИК
Рассказ на могиле

*(Святой памяти благословенного дня
19-го февраля 1861 г.)*

*Души их во благих водворятся.
Погребальная песнь*

У нас многие думают, что «художники» – это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академиею, а других не хотят и почитать за художников. Сазиков и Овчинников[1] для многих не больше как «серебряники». У других людей не так: Гейне вспоминал про портного, который «был художник» и «имел идеи» [2], а дамские платья работы Ворт[3] и сейчас называют «художественными произведениями». Об одном из них недавно писали, будто оно «сосредоточивает бездну фантазии в шнипе[4]».

В Америке область художественная понимается еще шире: знаменитый американский писатель Брет Гарт[5] рассказывает, что у них чрезвычайно прославился «художник», который «работал над мертвыми». Он придавал лицам почивших различные «утешительные выражения», свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ.

Было несколько степеней этого искус-

ства, – я помню три: «1) спокойствие, 2) возвышенное созерцание и 3) блаженство непосредственного собеседования с богом». Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна, но, к сожалению, художник погиб жертвою грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил «выражение блаженного собеседования с богом» лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни...

Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси.

Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Онисимовна. Она была из прежних актрис бывшего орловского театра графа Каменского, и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле, во дни моего отрочества.

Брат моложе меня на семь лет; следовательно, когда ему было два года и он находился на руках у Любви Онисимовны, мне минуло уже лет девять, и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории.

Любовь Онисимовна тогда была еще не очень стара, но бела как лунь; черты лица ее были тонки и нежны, а высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки.

Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она, несомненно, была в свое время красавица.

Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна; любила в жизни трагическое и... иногда запивала.

Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала.

Тут я от нее и услышал историю «тупейного художника».

Он был собрат нашей няне по театру; разница была в том, что она «представляла на сцене и танцевала танцы», а он был «тупейный художник», то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток графа «рисовал и причесывал». Но это не был простой, банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с *идеями*, – словом, *художник*.

Лучше его, по словам Любви Онисимовны, никто не мог «сделать в лице воображения».

При котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы называли «неслыханными тиранами». Фельдмаршала Михаиле Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году, а у него было два сына: Николай, умерший в 1811 году, и Сергей, умерший в 1835 году.

Ребенком, в сороковых годах, я помню еще

огромное серое деревянное здание с фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского; тут же был и театр. Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Онисимовна, когда, бывало, что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами:

– Погляди-ка, милый, туда... Видишь, какое страшное?

– Страшное, няня.

– Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшней.

Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок ее сердцу.

Аркадий «причесывал и рисовал» одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер, а Аркадий если и ходил иногда на «мужскую половину», то только в таком случае, если сам граф приказывал «отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде». Главная особенность гримировального туше этого художника состояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения.

– Призовут его, бывало, – говорила Любовь Онисимовна, – и скажут: «Надо, чтобы в лице было такое-то и такое воображение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собою стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать невозможно, носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые, и густой хохолок прекрасно с головы на глаза свешивался, – так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака.

Словом, тупейный художник был красавец

и «*всем нравился*». «Сам граф» его тоже любил и «от всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости». Ни за что не хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, остриг, обрил и причесал, и для того *всегда* держал его при своей уборной, и, кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода.

Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому что граф сам в бога не верил, а духовных терпеть не мог и один раз на пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил.[6] и от известного своею непогрешительною правдивостью старика, купца Ивана Ив.Андросова, который сам видел, «как псы духовенство рвали», а спасся от графа только тем, что «взял греха на душу». Когда граф его велел привести и спросил: «Тебе жаль их?» – Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так им и надо: пусть не шляются». За это его Каменский помиловал. (Прим.авт.)]

Граф же, по словам Любви Онисимовны, был так страшно нехорош, через свое всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразиго

умел дать, хотя на время, такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих важнее.

А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и недоставало всего более важности и «военного воображения».

И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, – он сидел «весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду». А было ему тогда уже лет за двадцать пять, а Любови Онисимовне девятнадцатый год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех, во время гримировки.

Свидания с глаза на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы...

– Нас, актрис, – говорила Любовь Онисимовна, – берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут *кормилиц*; при нас были приставлены пожилые женщины, у которых есть дети, и если, помилуй бог, с которою-нибудь из нас что бы случилось, то у тех жен-

щин все дети поступали на страшное тиранство.

Завет целомудрия мог нарушать только «сам», – тот, кто его уставлял.

Любовь Онисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красоты, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта: она «пела в хорах подпури», танцевала «первые па в „Китайской огороднице“ и, чувствуя призвание к трагизму, «знала все роли *наглядкою*».

В каких именно было годах – точно не знаю, но случилось, что через Орел проезжал государь (не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович) и в Орле ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского.

Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил (мест за деньги не продавали), и спектакль поставили самый лучший. Любовь Онисимовна должна была и петь в «подпури», и танцевать «Китайскую огородницу», а тут вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе «герцогиню де Бурблян».

Никогда и нигде я не встречал роли этого

наименования, но Любовь Онисимовна проносила ее именно так.

Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку, но роли герцогини де Бурблян играть было некому.

– Тут, – говорила Любовь Онисимовна, – я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощенья просит и с распущенными волосами умирает. А у меня у самой волосы были удивительно какие большие и русые, и Аркадий их убирал – заглядение.

Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от режиссера удостоверение, что «Люба роли не испортит», ответил:

– За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня камариновые серьги.

«Камариновые же серьги» у них был подарок и лестный и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенною на краткий миг в одалиски владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девуш-

ку после театра «в невинном виде святою Цецилией», и во всем в белом, в венке и с лилией в руках символизированную innocence[7] доставляли на графскую половину.

– Это, – говорила няня, – по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама плачу и как вечером представлять буду, того уже и подумать не могу.

А в эти самые роковые часы другое – тоже роковое и искусительное дело подкралось и к Аркадию.

Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже, и давно в деревне жил, и формы не надевал, и не брился, потому что «все лицо у него в буграх заросло». Тут же, при таком особенном случае, надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок и «в военное воображение», какое требовалось по форме.

А требовалось много.

– Теперь этого и не понимают, как тогда было строго, – говорила няня. – Тогда во всем форменность наблюдалась и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы, а иному это ужасно не шло, и если его причесать по форме, с хохлом стоймя и с височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн. Важные господа ужасно как этого боялись. В этом и много значило мастерство в бритье и в

прическе, – как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать, – от этого от самой от малости в лице выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по словам няни, легче было, потому что на них внимательно-го призрения не обращали – от них только требовался вид помирнее, а от военных больше требовалось – чтобы перед старшим воображалась смиренность, а на всех прочих от-вага безмерная хорохорилась.

Это-то вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивитель-ным искусством Аркадий.

Деревенский же брат графа был еще некрасивее городского и вдобавок в деревне совсем «заволохател» и «напустил в лицо такую грубость», что даже сам это чувствовал, а убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил, да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать.

Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирюльников и говорит:

– Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я два золотых даю, а на того, кто обрежет, вот два пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь – бери золото и уходи, а если обрежешь один прыщик или на волосок бакенбарды не так проведешь, – то сейчас убью.

А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом.

В Орле тогда городских цирюльников мало было, да и те больше по баням только с тазиками ходили – рожки да пиявки ставить, а ни

вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали и все отказались «преобразовать» Каменского. «Бог с тобою, – думают, – и с твоим золотом».

– Мы, – говорят, – этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронуться недостойны, да у нас и бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужно бритвы аглицкие. Это один графский Аркадий может.

Граф велел выгнать городских цирюльников по шеям, а они и рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к старшему брату и говорит:

– Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой: отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирюльники не умеют.

Граф отвечает брату:

– Здешние цирюльники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что

Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь – разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?

Тот говорит:

– А почему нет: ты постановил, ты и отменишь.

А граф-хозяин отвечает, что для него такое суждение даже странно.

– После того, – говорит, – если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и за то ему содержание всех лучше, а если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, с своим искусством тронется, – я его заперю и в солдаты отдам.

Брат и говорит:

– Что-нибудь одно: или заперешь, или в солдаты отдашь, а водвою[8] вместе это не сделаешь.

– Хорошо, – говорит граф, – пусть по-твоему: не заперю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам.

– И это, – говорит, – последнее твое слово, брат?

– Да, последнее.

– И в этом только все дело?

– Да, в этом.

– Ну, в таком разе и прекрасно, а то я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего *пуделя остричь*. А там уже мое дело, что он сделает.

Графу неловко было от этого отказаться.

– Хорошо, – говорит, – пуделя остричь я его пришлю.

– Ну, мне только и надо.

Пожал графу руку и уехал.

— **А** было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают. Граф призвал Аркадия и говорит: «Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его пуделя».

Аркадий спрашивает:

«Только ли будет всего приказания?»

«Ничего больше, — говорит граф, — но поскорей возвращайся актрис убирать. Любанынче в трех положениях должна быть убрана, а после театра представь мне ее святой Цецилией».

Аркадий Ильич пошатнулся.

Граф говорит:

«Что это с тобой?»

А Аркадий отвечает:

«Виноват, на ковре оступился».

Граф намекнул:

«Смотри, к добру ли это?»

А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу.

Услыхал, что меня велено Цецилией убирать, и, словно ничего не видя и не слыша,

взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел.

— Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены и опять два пистоleta рядом, да тут же уже не два золотых, а десять, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями.

Графов брат говорит:

«Пуделя у меня никакого нет, а вот иве что нужно: сделай мне туалет в самой отважной mine и получай десять золотых, а если обрежешь – убью».

Аркадий посмотрел, посмотрел и вдруг, – господь его знает, что с ним сделалось, – стал графова брата и стричь и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман ссыпал и говорит:

«Прощайте».

Тот отвечает:

«Иди, но только я хотел бы знать: отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?»

А Аркадий говорит:

«Отчего я решился – это знает только моя грудь да подоплека»[9].

«Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?»

«Пистолеты – это пустяки, – отвечает Аркадий, – об них я и не думал».

«Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего и я в тебя за порез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил».

Аркадий, как ему графа напоянули, опять вздрогнул и точно в полуснях проговорил:

«Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от бога: пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал».

И с тем бросился вон и пришел в театр как раз в свое время и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как завьет мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет:

«Не бойся, увезу».

— Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные были, приучены и к страху и к мучительству: что на сердце ни есть, а свое исполнение делали так, что ничего и не заметно.

Со сцены видели и графа и его брата — оба один на другого похожи. За кулисы пришли — даже отличить трудно. Только наш тихий-претихий, будто сдобрившись. Это у него всегда бывало перед самую большую лютостью.

И все мы млеем и крестимся:

«Господи! помилуй и спаси. На кого его зверство обрушится!»

А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно, но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть прощады, и был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухмена и расслыхала: он сказал:

«Я тебе как брат советую: ты его бойся, когда он бритвой бреет».

Наш только тихо улыбнулся.

Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому что когда стал меня к последнему представлению герцогиней убирать, так – чего никогда с ним не бывало – столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал:

«Тро боку, тро боку!»[10] – и щеточкой лишнее с меня счистил.

— **А** как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цецилией — одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками подхвачено, — терпеть мы этого убора не могли. Ну, а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и тоненький венец обручиком закрепить, и видит Аркадий, что у дверей моей каморочки стоят шесть человек.

Это значит, чтобы, как он только, убравши меня, назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и вести куда-нибудь на мучительства. А мучительства у нас были такие, что лучше сто раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячком скрячивали [11] и заворачивали: все это было. Казенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится когда идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят

и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал:

*Приползут, – говорит, – змеи и
высосут очи,
И зальют тебе ядом лицо скорпи-
оны.[12]*

Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься.

А другие даже с медведями были прикованы, так, что медведь только на полвершка его лапой задрать не может.

Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою каморочку, так в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб, и больше я уже ничего и не помню...

Стала я в себя приходиться, оттого что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе в волчьей или в медвежьей, а вокруг – тьма промежуная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда.

А около меня два человека в кучке, в широких санях сидят, – один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет... Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полу сидели да руками не держались, то никому невозможно бы уцелеть.

И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидании, – понимаю только: «Гонят, гонят, гони, гони!» – и больше ничего.

Аркадий Ильич, как заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит:

«Любушка, голубушка! за нами гонятся... согласна ли умереть, если не уйдем?»

Я отвечала, что даже с радостью согласна.

Надеялся он уйти в турецкий Хрущук[13], куда тогда много наших людей от Каменского бежали.

И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья заседело и собаки залаяли; а ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились, а он, и сани, и лошади, все из глаз

пропало.

Аркадий говорит:

«Ничего не бойся, это так надобно, потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с тем за три золотых нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля божья: вот село Сухая Орлица – тут смелый священник живет, отчаянные свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим, он нас до вечера спрячет и перевенчает, а к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся».

— Постучали мы в дом и вошли в сени. Отворил сам священник, старый, приземковатый, одного зуба в переднем строю нет, и жена у него старушка старенькая — огонь вздула. Мы им оба в ноги кинулись.

«Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера».

Батюшка спрашивает:

«А что вы, светы мои, со сносом[14] или просто беглые?»

Аркадий говорит:

«Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут, а с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчатся три червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там, в Хрущук, окрутимся».

Тот говорит:

«Нет, отчего же не могу? я могу. Что там еще в Хрущук везть. Давай за все вместе пять золотых, — я вас здесь окручу».

И Аркадий подал ему пять золотых, а я вынула из ушей камариновые серьги и отдала матушке.

Священник взял и сказал:

«Ох, светы мои, все бы это ничего – не таких, мне случалось, кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его люто-сти страшно. Ну, да уж пускай, что бог даст, то и будет, – прибавьте еще лобанчик хоть обрешанный и прячьтесь».

Аркадий дал ему шестой червонец, полный, а он тогда своей попадьей говорит:

«Что же ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку да шушунчик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыдно, – она вся как голая».

А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо.

— У нас сердца у обоих и замерли. А ба-
тюшка шепнул Аркадию:

«Ну, свет, в сундук с ризами вам теперь,
видно, не попасть, а полезай-ка скорей под
перину».

А мне говорит:

«А ты, свет, вот сюда».

Взял да в часовой футляр меня и поставил,
и запер, и ключ к себе в карман положил, и
пошел приезжим двери открывать. А их,
слышно, народу много, и кои у дверей стоят, а
два человека уже снаружи в окна смотрят.

Вошло семь человек погони, все из граф-
ских охотников, с кистенями и с арапниками,
а за поясами своры веревочные, и с ними
восьмой, графский дворецкий, в длинной
волчьей шубе с высоким козырем[15].

Футляр, в котором я была спрятана, во всю
переднюю половинку был пропиленный, ре-
шатчатый, старой тонкой кисейкой затянут,
и мне сквозь ту кисею глядеть можно.

А старичок священник сробел, что ли, что
дело плохо, — весь трясется перед дворецким,

и крестится, и кричит скоренько:

«Ох, светы мои, ой, светы ясные! Знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чем не виноват, ей-право, не виноват, ей, не виноват!»

А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта.

«Пропала я», – думаю, видя, как он это чудо делает.

Дворецкий тоже это увидал и говорит:

«Нам все известно. Подавай ключ вот от этих часов».

А поп опять замахал рукой:

«Ой, светы мои, ой, ясненькие! Простите, не взыскивайте: я позабыл, где ключ положил, ей, позабыл, ей, позабыл».

А с этим все себя другою рукой по карману гладит.

Дворецкий и это чудо опять заметил и ключ у него из кармана достал и меня отпер.

«Вылезай, – говорит, – соколка, а сокол твой теперь нам сам скажется».

А Аркаша уже и сказался: сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит.

«Да, – говорит, – видно, нечего делать, ваша взяла, – везите меня на терзание, но она ни в чем не повинна: я ее силой умчал».

А к попу обернулся да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул.

Тот говорит:

«Светы мои, видите, еще какое над саном моим и верностью поругание? Доложите про это пресветлому графу».

Дворецкий ему отвечает:

«Ничего, не беспокойся, все это ему прищется», – и велел нас с Аркадием выводить.

Рассадились мы все на трое саней, на передние связанного Аркадия с охотниками, а меня под такую же охраною повезли на задних, а на середних излишние люди поехали.

Народ, где нас встретит, все расступается, – думают, может быть, свадьба.

— Очень скоро доскакали и как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых Аркашу везли, а меня взяли в свое прежнее место и все с допроса на допрос брали: сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась.

Я всем говорю:

«Ах, даже нисколечко!»

Тут что мне, верно, на роду было назначено не с милым, а с постылым, – той судьбы я и не минула, а придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать свое несчастье, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны.

У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам вверх все слышно было. И адский царь Сатана надумил их, жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем...

Как почувяла я, что это его терзают... и бросилась... в дверь ударилась, чтоб к нему бе-

жать... а дверь заперта... Сама не знаю, что сделать хотела... и упала, а на полу еще слышней. И ни ножа, ни гвоздя – ничего нет, на чем бы можно как-нибудь кончиться... Я взяла да своей же косою и замоталась... Обвила горло, да все крутила, крутила и слышать стала только звон в ушах, а в глазах круги, и замерло... А стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе... И телятки тут были... много теляточек, штук больше десяти, – такие ласковые, придет и холодными губами руку лижет, думает – мать сосет... Я оттого и проснулась, что щекотно стало... Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестряди и пестрядинным чистым платком повязана, а лицо ласковое.

Заметила эта женщина, что я в признак пришла, и обласкала меня и рассказала, что я нахожусь при своем же графском доме в телячьей избе... «Это вон там было», – поясняла Любовь Онисимовна, указывая рукою по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграждений.

На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей? Таких скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали, потому что скотники были народ пожилой и степенный, и считалось, что они могли «наблюдать» психозы.

Пестрядинная старуха, у которой опозналась Любовь Онисимовна, была очень добрая, а звали ее Дросида.

– Она, как убралася перед вечером, – продолжала няня, – сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Так распушила мягко, как пуховичок, и говорит:

«Я тебе, девушка, все открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты, и не весь свой век эту пестрядь носила, а тоже другую жизнь видела, но только не дай бог о том вспомнить, а тебе скажу: не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала, – на ссылу лучше, но только вот этого ужасного плакона берегись...»

И вынимает из-за шейного платка белень-

кий стеклянный пузырек и показывает.

Я спрашиваю:

«Что это?»

А она отвечает:

«Это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения».

Я говорю:

«Дай мне забвенного яду: я все забыть хочу».

Она говорит:

«Не пей – это водка. Я с собой не совладала раз, выпила... добрые люди мне дали... Теперь и не могу – надо мне это, а ты не пей, пока можно, а меня не суди, что я пососу, – очень больно мне. А тебе еще есть в свете утешение: его господь уж от тиранства избавил!..»

Я так и вскрикнула: «умер!» да за волосы себя схватила, а вижу не мои волосы – белые... Что это!

А она мне говорит:

«Не пужайся, не пужайся, твоя голова еще там побелела, как тебя из косы выпутали, а он жив и ото всего тиранства спасен: граф ему такую милость сделал, какой никому и не было – я тебе, как ночь придет, все расскажу,

а теперь еще сососу... Отсосаться надо... жжет сердце».

И все сосала, все сосала и заснула.

Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку и, вижу, опять стоя сососала из плакончика и опять его спрятала, а меня тихо спрашивает:

«Спит горе или не спит?»

Я отвечаю:

«Горе не спит».

Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадия после наказания к себе призвал и сказал:

«Ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано, но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость: я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать, но за то, что ты брата моего, графа и дворянина, с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою, – я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтобы тебя сейчас прямо на войну послали, и ты не будешь служить в простых во солдатах, а будешь в пол-

ковых сержантах, и покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская».

«Ему, – говорила пестрядинная старушка, – теперь легче и бояться больше нечего: над ним одна уже власть, – что пасть в сражении, а не господское тиранство».

Я так и верила, и три года все каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается.

Так три года прошло, и во все это время мне была божия милость, что к театру меня не возвращали, а все я тут же в телячьей избе оставалась жить, при тетушке Дросиде в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела, и когда она, бывало, ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. А она еще помнила, как старого графа наши люди зарезали, и сам главный камердинер, – потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я все еще ничего не пила, и за тетушку Дросиду много делала и с удовольствием: скотинки эти у меня как детки были. К теляткам, бывало, так привыкнешь, что когда которого отпишешь и его поведут колоть для стола, так сама

его перекрестишь и сама о нем после три дня плачешь. Для театра я уже не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая легкая, а тут, после того как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила и в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такою же пестрядинкою, как и Дросида, и бог знает, докуда бы прожила в такой унылости, как вдруг один раз была я у себя в избе перед вечером: солнышко садится, а я у окна тальки[16] разматываю, и вдруг мне в окно упадает небольшой камень, а сам весь в бумажку завернут.

— Я оглянулась туда-сюда и за окно выглянула — никого нет.

«Наверно, — думаю, — это кто-нибудь с воли через забор кинул, да не попал куда надо, а к нам с старушкой вбросил. И думаю себе: развернуть или нет эту бумажку? Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано? А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю, а записочку с камушком опять точно таким же родом кому следует переброшу».

Развернула и стала читать, и глазам своим не верю...

— Писано: «Верная моя Люба! Сражался я, и служил государю, и проливал свою кровь не однажды, и вышел мне за то офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской слободе на постоялом дворе у дворника, а завтра ордена и кресты надену, и к графу явлюсь, и принесу все свои деньги, которые мне на лечение даны, пятьсот рублей, и буду просить мне тебя выкупить, и в надежде, что обвенчаемся перед престолом всевышнего создателя».

— А дальше, — продолжала Любовь Онисимовна, всегда с подавляемым чувством, — писал так, что «какое, — говорит, — вы над собою бедствие видели и чему подвергались, то я то за страдание ваше, а не во грех и не за слабость поставляю и предоставляю то богу, а к вам одно мое уважение чувствую». И подписано: «Аркадий Ильин».

Любовь Онисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке и никому про него не сказа-

ла, ни даже пестрядинной старухе, а только всю ночь богу молилась, нимало о себе слов не произнося, а все за него, потому что, говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер, и со крестами и ранами, однако я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде.

Просто сказать, боялась, что еще его бить будут.

Наутро рано Любовь Онисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить, как вдруг до ее слуха стало достигать, что «на воле», за забором, люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают.

– Что такое они говорили, того я, – сказывала она, – ни одного слова не расслышала, но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в ворота навозник Филипп, я и говорю ему:

«Филюшка, батюшка! не слыхал ли, про что это люди идут да так любопытно разговаривают?»

А он отвечает:

«Это, – говорит, – они идут посмотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, – говорит, – горло перехватил и пятьсот рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови, – говорят, – и деньги при нем».

И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой...

Так и вышло: этот дворник Аркадия Ильича зарезал... и похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим... Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит... А то ты думал, отчего же я все сюда гулять-то с вами хожу... Мне не туда глядеть хочется, – указала она на мрачные и седые развалины, – а вот здесь возле него посидеть и... и капельку за его душу помяну...

Тут Любовь Онисимовна остановилась и, считая свой сказ досказанным, вынула из кармана пузыречек и «помянула», или «посо-сала», но я ее спросил:

– А кто же здесь схоронил знаменитого ту-пейного художника?

– Губернатор, голубчик, сам губернатор на похоронах был. Как же! Офицер, – его и за обедней и дьякон и батюшка «болярином» Аркадием называли и как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей выстрелили. А постоянного дворника после, через год, палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. Сорок и три кнута ему за Аркадия Ильича дали, и он выдержал – жив остался и в каторжную работу клейменный пошел. Наши мужчины, которым возможно было, смотреть бегали, а старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что это сорок и три кнута мало, потому что Аркаша был из простых, а тем за графа так сто и один кнут дали. Четного удара ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо

бить в нечет. Нарочно тогда палач, говорят, тульский был привезен, и ему перед делом три стакана рому дали выпить. Он потом так бил, что сто кнутов ударил все только для одного мучения, и тот все жив был, а потом как сто первым щелканул, так всю позвоночную кость и растрошил. Стали поднимать с доски, а он уж и кончается... Покрыли рогожечкой, да в острог и повезли, – дорогой умер. А тульский, сказывают, все еще покрикивал: «Давай еще кого бить – всех орловских убью».

– Ну, а вы же, – говорю, – на похоронах были или нет?

– Ходила. Со всеми вместе ходила: граф велел, чтобы всех театральные свести посмотреть, как из наших людей человек заслужиться мог.

– И прощались с ним?

– Да, как же! Все подходили, прощались, и я... Переменился он, такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень бледный, – говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще зарезал... Сколько это он своей крови пролил...

Она умолкла и задумалась.

– А вы, – говорю, – сами после это какво перенесли?

Она как бы очнулась и провела по лбу рукою.

– Поначалу не помню, – говорит, – как домой пришла... Со всеми вместе ведь – так, верно, кто-нибудь меня вел... А ввечеру Дросида Петровна говорит:

«Ну, так нельзя, – ты не спишь, а между тем лежишь как каменная. Это нехорошо – ты плачь, чтобы из сердца исток был».

Я говорю:

«Не могу, теточка, – сердце у меня как уголь горит, и истоку нет».

А она говорит:

«Ну, значит, теперь плакона не миновать».

Налила мне из своей бутылочки и говорит:

«Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего: облей уголь – пососи».

Я говорю:

«Не хочется».

«Дурочка, – говорит, – да кому же сначала хотелось. Ведь оно, горе, горькое, а яд горевой еще горче, а облить уголь этим ядом – на ми-

нуту гаснет. Соси скорее, соси!»

Я сразу весь плакон выпила. Противно было, но спать без того не могла, и на другую ночь тоже... выпила... и теперь без этого уснуть не могу, и сама себе плакончик завела и винца покупаю... А ты, хороший мальчик, мамаше этого никогда не говори, никогда не выдавай простых людей: потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди все ведь страдатели. А вот мы когда домой пойдем, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу... Сами туда не взойдем, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новый высунут.

Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не скажу о ее «плакончике».

– Спасибо, голубчик, – не говори: мне это нужно.

И как сейчас я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встает, крадется на своих длинных простуженных ногах к окошечку... Стоит минутку, озирается, слушает: не идет ли из спальни мама; потом ти-

хонько стукнет шейкой «плакончика» о зубы, приладится и «пососет»... Глоток, два, три... Уголек залила и Аркашу помянула, и опять назад в постельку, – юрк под одеяльце и вскоре начинает тихо-претихо посвистывать – фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула.

Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.

1883

Примечания

Сазиков П.И. (ум. в 1868 г.), *Овчинников П.А.* (1830–1888) – московские чеканщики по золоту и серебру.

[^^^]

«Художником» Гейне называл сапожника (Полн. собр. соч., т.9. М.-Л., «Academia», 1936, с.84); об «идеях» портного – там же, т.4, с.240.

[^^^]

3

Ворт Чарльз Фредерик (1825–1895) – известный парижский портной.

[^^^]

4

Шнип – выступ на поясе женского платья или лифа.

[^^^]

5

Брет-Гарт Френсис (1839–1902) – знаменитый американский писатель. Речь идет о его рассказе «Разговор в спальном вагоне» (1877).

[^^^]

6

Рассказанный случай был известен в Орле очень многим. Я слышал об этом от моей бабушки Алферьевой [Алферьева Акилина Васильевна, (1790 – ок.1860) – бабушка писателя по матери.

[^^^]

невинность (*франц.*)

[^^^]

8

Водвою – одновременно, сразу.

[^^^]

Подоплека – подкладка рубашки (в основном у крестьян) от плеч до середины груди и спины.

[^^^]

СЛИШКОМ МНОГО (*франц.*)

[^^^]

Кряч – веревка.

[^^^]

Слова из сербской песни «Марко-кравлевич в темнице» (*перев. А.Х.Востокова*).

[^^^]

Турецкий Хрущук – в настоящее время болгарский город Руцук.

[^^^]

Со сносом – с ворованным.

[^^^]

Козырь – стоячий воротник.

[^^^]

Тальки – мотки пряжи.

[^^^]